Наталия
Шушанян

НЕДОЛГИЙ ВЕК

Наталия
Шушанян

НЕДОЛГИЙ ВЕК

Стихи

16+

ISBN 978-5-00217-858-2

© Шушанян Н.

Издательство Э́дитус
Москва

2026

НЕДОЛГИЙ ВЕК

СОДЕРЖАНИЕ

«Мне, чтобы руку тебе пожать...» 8

«Сад закружило в звонком безголовье...» 9

«Над сонной чащей выкипел состав...» 10

«Белая радуга — это, пожалуй, черта невозврата...» 11

«Идти меж домов, где карнизы...» 13

«Все повторилось, но наоборот...» 15

«Отмотай эту ленту назад, до садовых ворот...» 16

«Что старый мир? Отречённый. Усталый. Проигранный...» 17

«То жесткий гнет, то тяжесть плит...» 18

«Эта шляпа — винтажная штука...» 19

«Сегодня будто выходной...» 20

«Еще не тронутый металлом...» 22

«Есть вещи посерьезнее, чем кроны...» 24

«В этой местности воздух...» 26

«Там, где древняя баба...» 30

«На ладонях ожог саванны...» 33

«Это ты англичанское эхо...» 34

«В пространстве нет ни швов, ни очертаний...» 35

«Жесть седьмого числа...» 36

«Ныряешь ты спешно в свой воротник...» 38

«Мы утечем из тесноты...» 39

«Пустое гадание — искать в букваре...» 40

«Опять эти сумерки. Снег, как подтирка...» 41

«Знаешь, ведь хорошо я тебя...» 43
«Скрипели старые дубы...» 44
«Шерстяная перчатка намокла от слез...» 45
«Сквозь дощатый забор, сквозь густую, смолистую охру...» 46
«Сиена древняя плавилась от зноя...» 47
«Может, где-то и есть княжны...» 48
«Золотым ураганом из темных глубин...» 49
Улитка-левша (с редкой левозакрученной раковиной) *50*
«Здесь небо плоское и древнее...» 51
«Русские степи — двор проходной!...» 52
«Издревле Хронос вращал хрустальные оси...» 53
«Вечер уносит иголки и ветошь в холодную ночь...» 54
«Этот грозный в истории мира седой океан...» 55
«Эй, расступайся, земля стовековая!...» 56
«Полечу я, значит, в Бахрейн...» 57
«Проталина шире у яра...» 59
«Теряют зной песчаные пригорки...» 60
«Взметнулся флаг над сонною державой...» 61
«Откуда у солнца столько терпения...» 62
«Здесь тридцать атмосфер, и рвется прядь...» 63
«Будь я Красной Шапочкой...» 64
Сказка о Золушке (в 5-и частях) *66*
«И нет никакой Британии...» 71
«Игра в города — это дело сухое...» 72

«Муза не едет, сломалось колесо...» 73
«Апрель надел свой старый бант...» 74
«Пошел человек за пипеткой...» 75
«Повисло утро белым шумом...» 76
«Шёл по лесу гражданин...» 77
Эволюция человечества (рэп-либретто) *78*
«В дыханье простора...» 82
«У богов — свой тариф, у сиротства — свои законы...» 84
«Ночь. Гул кононады...» 85
Две точки над вечностью: лингвистический триптих *87*
«Зачем летать на Марс за тишиною...» 89
Монолог Шишковой Леси (Лирико-иронический триптих) *90*
«Пусть в мозгах и след энтропии...» 93
Монолог плюшевого медведя (в 3-х частях) *94*
«Всё обнулится намертво в тринадцатую пятницу...» 97
«Золотым ураганом из темных глубин...» 99
«Цветку не проснуться цветком в холодах...» 100
«Зимнее лето — то холод, то жар...» 101
«Пар шёл от камней. Ключевая вода...» 102
«Я превращу тебя в музей...» 103
«Стояли мы на башне, острый рог...» 104
«Тебя тащу я в сказочную небыль...» 105
«Зачем ты бьешь меня наотмашь, луч...» 106
«Я чего-то не пойму...» 107

«С еловых лап в лесной глуши...» 110
«Стучало сегодня часами кряду...» 111
«Ты свет золотой...» 113
«Мы скрыты за туманами...» 115
«Он слишком громко звал...» 116
«С минувшим десятком пятым...» 117
«С темнотою стало странно...» 118
«Струилось время прохладой...» 120
«Лучи заката ласково, лилово...» 122
«Туман клубится, огни дрожат...» 123
«Не хочу быть Жар-птицей, хочу светлячком...» 124
«Видала я ту смерть в гробу...» 126
«Не знаю, кто в мире она — Фата-Моргана...» 127
«Глазки — точки, щёчки — мыльце...» 128
«Как выкроить в сутках крылами живую лазурь...» 129
«Вечер стих и прилег на клавиши...» 130

***

Мне, чтобы руку тебе пожать,
тысячи надо пройти верст.
Проще, наверно, луну удержать
за серебристый хвост.
Дорога петляет, уходит в кювет,
времени — целая фляжка.
Я оставляю в глине след,
знаешь, шагать мне тяжко.
Мне бы форсировать этот предел,
вырваться из оцепления,
вот и ладони, на них алеют
валёры от сновидений.
Там, где туман наползает на гать,
в старой ольховой запруде,
я научусь тишину запрягать
в серые будние будни.
Встреча — то выстрел, всполох в ночи,
пламя в сыром чернолесье,
сердце, как кузница, гулко стучит
в этом сыром поднебесье.
Пусть между нами заставы и ров,
ветры и льды вековые, —
я доберусь до твоих берегов,
лишь бы ладони живые.

***

Сад закружило в звонком безголовье,
и ливня бьется переменный ток,
и пеленает вечер грузное сословие
промокших крон и согнутых осок.

Гляди: весна в зрачке сиренью зреет,
и каждый блик — как выдох на юру.
течет лазурь, и воздух тяготеет
уйти стремглав в летящую дыру
меж явью и предчувствием разрыва,
где тополя срывают якоря,
и страсть кипит безбрежно и ворчливо,
как в чёрной пене соды и угля.

Не называть, не трогать эту тайну,
закутанную в мокрый воротник,
всё в этом мире вечно и случайно —
и этот блеск, и этот краткий миг.

И нет конца, и топот по ступеням,
а в зеркалах — то лица, то штрихи,
мы отданы на растерзанье теням,
что превращают обморок в стихи.
И пахнет ночь чернилами и снегом,
и шестерней небесного кольца
швыряет нас за призрачным ковчегом,
где свету нет предела и конца.

***

Над сонной чащей выкипел состав
межзвездных руд, и содрогнулись оси,
там Орион, от вечности устав,
свои доспехи в ельник перебросил,

и сбился почерк млечного пути,
сместились знаки, спутались орбиты,
и внятный гул идет из темноты,
дробя обломки фактов и событий.

Посмотришь вверх — там рушатся медведи,
ссыпая ковши в ледяную воду,
а на земле в предчувствии трагедий
размыты тропы в скользкие породы,

и всё застыло в центре перемен,
и в каждой искре — громовые вести,
так Орион, всю бездну взявший в плен,
меняет нас. А небеса — на месте!

***

Белая радуга — это, пожалуй, черта невозврата,
знак, что материя в небе высоком окончательно смыта, —
будто предчувствие близкой потери, в разломах заката
память о солнце живет, но прохладою ночи сокрыта.

В верхних слоях атмосферы, где и шёпот становится эхом,
из разных пустот и лакун, и остывшего праха
ей вьется наряд, а Земля, оглушённая зимним успехом,
сквозь блеклое небо на это взирает без всякого страха.

Космос роняет крупицы солей на замёрзшие ткани,
вместо короны в зените стынут обломки кристаллов.
Движение воздуха стихло, и в этом ночном молчании
радуга дремлет. И вот засияла,

на верность огню и грядущему дню присягая,
но тут же и сникла — едва различима впотьмах —
без всякого следа растворяясь с самого края,
мелодии света теряет в еще неоткрытых окрестных морях:

Вслозь мильную лавель, туй лильную незь,
вде лели лимея вуднали,
мны сельсимся влесно навекно ил днесь
люлищем му нельмости свали.

Незвлушное враддсе
зиминой зувает,
квак урно весель изволот бут атланы,
милень уваднаем вердсой отбуланы,
взвимаем импирой меланы.

Ду палесью всклизло ан рут вскленеветь
влозь мильную вельную прометь,
лиму отилело булавель винеть
ин стель наинаной инкролить.

Ин верне тур мидлица овает тулнеть —
вскрычнает уняной зеняной,
лон зажа лувана дерзлает хмырзеть
одвельной зоридной маляной.

Аффектиль? Лон мрынит валимой борой,
вседая овиным квалтахом,
урлнится клеверой замильный приой
визурно винейным мелахом.

***

Идти меж домов, где карнизы
держат остатки дождя,
висят фонари как эскизы
прежних, угасших вчера,

глядеть, как витрины зевают,
лица в них не скользят,
буквы на них уплывают,
привычный теряя ряд,

как статуя сдвинула плечи,
уставши впервые стоять,
хоть издавна голубь беспечный
ее не желал признавать,

рельсы уходят не прямо,
они передумали вдруг,
ночь, неровная рама,
тревожно сжимается в круг,

вывеска с чьим-то портретом,
срываясь, смущая анфас,
место ищет под светом,
свет, сомневаясь, погас,

ни шага в арке, ни шороха,
стынет в бессилии излом,
воздух на узких опорах
городу стал потолком,

крылатый малец к мостовой
метнулся, моргнул, растворился,
город не спит, городской
блуждающий нерв заблудился.

***

Все повторилось, но наоборот:
фонарь, аптека, улица,
и не истина в вине, а вино —
в истине. К чему ей сутулиться,
когда в ней одно?
Какие смутные предчувствия,
когда безжалостно горит зенит?
Незримое присутствие?
И тишина вполне звенит,
смычки не рвут случайных нежностей,
и дамы, — не вуаль, а плоть,
и в этой самой неизбежности —
как камень, пламя и щепоть.
Не хаос мчит над бездной гулкой,
а строгий, ледяной январь,
и жизнь течет по переулкам —
аптека, улица, финал.

***

Отмотай эту ленту назад, до садовых ворот,
до калитки, заросшей сырой медуничной травой.
Для чего мне писать в твой проигранный год,
в век, охваченный шквалом и стылой зимой?

Знаешь, в чьих временах, под навесом густых лопухов,
всё шуршат по ночам твои вещие, страшные сны?
Как ты там? Твой рассвет задохнулся от наших грехов?
Я пишу из твоей же, но очень далёкой весны.

От весны до весны — для уставших богов придуманный бег,
где бездушная плоть примеряла бессмертные знаки
и топила народы в кромешном, безжалостном мраке…
Позади и смирителя час, и разорванный надвое век.

Были новые боги — прозрачны, напевны, чисты,
расправляли крыла, присягали рассветным лучам!
Но ломались хребты, каменели в граните черты,
и, пугаясь машин, птицы падали по ночам…

Что наш город? Прекрасен! Витрины зеркальный зрачок
отражает впотьмах тоску и надорванный век.
Но пока твоё сердце стучит в этот бледный листок —
от зимы до весны я иду, я ещё человек.

А весна? Здесь всё так же струится туман,
и рассветные звезды медуница прячет в траве.
То, что ты предсказал, — и восторг, и великий обман —
всё сбылось: мы одне в этом мире, поэт, мы одне.

***

Что старый мир? Отречённый. Усталый. Проигранный.
Пахнет театром, кровью, бензином и розами.
На память и выдержку тобою он выверен
с его колдовскими обманами и грозами.

В узких мансардах, у чёрного
лака,
целовал ты актрису, задыхаясь в полуночи,
а за окном, в переулках, качалась и плакала
взвесь, состоящая из пророчеств и горечи.

И распластанный век расползался нотами,
и кони хрипели у дождливой заставы Лиговской,
и завтра вскипало — с его пулемётами,
а себе оставлял ты Ибсена и Стриндберга.

Кто это придумал? Какой сумасшедший ремесленник
выбросил ваши тела из мрамора белого
в обреченное время, чтоб ветер-кудесник
тебя омывал одного, уже онемелого?

По выжженным книгам, по редким обугленным знакам
грядущие вечности выстроят рухнувший космос —
а над забытым, наглухо запертым прошлым
вспыхнет рассвет — с театром, кровью, бензином и розами.

***

То жесткий гнет, то тяжесть плит,
(а кто сказал, что век целит?),
и лагерь выл, и фронт горел,
а век на все это смотрел,
он был длиннее, чем тоска,
он грыз гранит и жег шелка,
он был как медленная казнь,
он сам к себе внушал боязнь,
сто лет прошли — кому глоток,
кому в гортань — беды вьюрок,
вчера — пожар, сегодня — пыль,
и всюду — яростная быль.
А ветер крутит белый снег,
ведь век — безумный человек,
то путь тягуч среди теней,
то век не век, лишь горстка дней:
не помня страшный свой ночлег,
он был таков — недолгий век.

***

Эта шляпа — винтажная штука
(смотрю, ладонью по фетру скользя),
в это слово вкручена мука
с резьбою, с которой шутить нельзя.

Винт истории, туго закрученный в кость,
эпохи вращал по спирали обид:
то в плоть человека впивался гвоздь,
то клеймо выжигалось на румянце ланит.

Виноватых искали в дыму деревень,
на крутых поворотах, у края траншей…
А винтаж — это просто забытая тень,
это выдержка времени в шуме дождей.

Это память, осевшая пеплом на дне,
это — старое, терпкое, злое вино.
Если истина, о мой поэт, и вправду в вине —
то в винтажном скрывается глубоко.

И покуда не стихла былая гроза,
та, что крутит вихри черных теней,
я пройдусь по тропе, припрятав глаза
под серой винтажной шляпой своей.

***

Сегодня будто выходной
седьмого круга и пространства,
и сумрак встал, как налитой,
внутри немого постоянства,

и вдоль послушных проводов
вползает вечер из подвала,
не задевая потолков,
он всюду бродит, как хозяин,

и пыль качает в полутьме,
как память, сбитую на ощупь,
ему раздолье в тесноте,
ему владения не ропщут,

вот на стене он сдвинул тень,
и сбросил блики с полотна,
их утопивши в темноте,
они воскреснут, но пока

он, вытолкнув из полутьмы
углы, картины, стёкла,
стирает губкой всем черты
и на куличиках у черта,

а если шорохи в стене,
и кто-то двигает обои,
так пустота на глубине
себя считает плотным слоем,

пройдись, не глядя за плечо,
там холод, тени и повторы,
и режет холод горячо,
а он не должен, он лишь холод,

не лезь в чужую темноту,
пускай тебя не распознают,
еще не время за черту,
пусть вечер сам себя теряет,

лишь взгляд останови в проёме,
Momento morior[1], но пока,
наутро в треснувшем объёме
проснётся целая река.

[1] Умереть в одно мгновение

***

Еще не тронутый металлом,
мир пил туман у хладных рек,
и в мезозое запоздалом
дрожал замшелый берег-век,
лишайник полз по рёбрам скал,
и кость гигантская белела,
а ветер запахи ища,
качал пустые колыбели.
Из чрева мглы, из дикой глины,
в пещерах побеждая страх,
шел человек к чужим долинам
и оседал на берегах,
и камень искрой отзывался,
плоть одевалась в мягкий мех, —
не мог ведь разум догадаться,
что жизнь — какой-то тяжкий грех,
и пальцы робко мяли землю,
слагая жертвенный алтарь,
и человеку будто внемля,
молчал в тени рогатый царь.
А время множило ряды,
вставал из ила крепкий дом,
ведь у чеканной бороды
кирпич рождался под огнем.
Мир спал в тени колоссов древних,
и бронза плавилась в огне,
а в душных комнатах молельных
жрецы шептались о войне.

И рухнул свод, с песком и гулом
смешав и письменность, и медь,
народы в шторм седой шагнули,
чтоб в черной бездне умереть
и новые воздвигнуть своды
над прахом выстывших костров,
на веки вечные «сплотит» народы
сиянье мертвых катастроф.

***

Есть вещи посерьезнее, чем кроны:
пока пичуга крутит головой,
пока рассказывает ворон про законы,
идет работа
в толще вековой —

стоят два дерева, — хоть разные на вид
и часто спорят, но не ведут учет,
предвидя тяготы слепой судьбы,
а выполняют
сложную работу,

скрепляя крни — без лишних поз,
без разговоров, без пафоса и свит,
и пусть вокруг никто не зрит угроз
и крепостей не стоит
для борьбы.

Одно — стройнее, второе крепко
сбито,
а под землей, где не видать ни зги,
они сплетают в узел скрытый
корней своих
узорные круги.

И вот удар! Не просто дождь и
слякоть,
а ураган со стороны морей,
несущий время плакать, падать,
крушит ряды он
стройных тополей,
ломает даже крепкие породы,
и валит дуб, срывает гибкий вяз,
и стонет бор, а ветра грозный рокот
березы гонит с корнем
на погост,

вся роща слышит горький ропот
летящих в бездну белых кос.
А эти двое, не сломленные роком,
стоят надежно
в лютый этот час,

не голос держит их и не права,
и вовсе не величие их крон, —
живой крепеж, замок суставов,
иная связь,
покрепче, чем бетон.

Гроза утихнет, отходя
по кругу,
покой осядет на побитый склон.
Два дерева потянутся друг к другу,
единый матери-земле
даря поклон.

***

В этой местности воздух
и прозрачен, и чист,
пахнет мятой и прелым
заброшенным садом,
здесь упрямые сосны,
их таинственный хруст
стерегут горизонт подвижным
фасадом:

то природа не знает своих рубежей,
растекаясь дремотой по ровному
лону,
то поутру рассвет, становясь
все рыжей,
подчиняет пространство иному
закону.

Припадаешь к земле, и гудит глубина,
и пласты чернозема сжимаются туго,
там подземные воды, лишенные сна,
затевают беседу друг с другом,

сквозь суглинок протиснувшись
и варево руд,
там субстанции спорят
в заброшенных склепах:

«Я к закату лечу, там меня сберегут
золотые поля и ковыльные степи.
Мне по сердцу покой и смиренная
поступь,
я хочу растворяться в расплавленном
свете.

Я несу через время свой плавный
напев,
в нем Коломна и Суздаль, и белые
стены,
и резной боголюбовский ясный
предел
не боится ни бурь, ни холодных
измен.

Мой удел — это глина и сонный
камыш.
тяжелые баржи пусть скользят
по затону.
Я люблю эту славную русскую тишь,
в ней течешь, поклонясь святому
канону.

Я впитала полынь, я исчезну как меря,
распуская течением солнца клубок,
в погибель напрасную, в ярость
не веря,
даже если нависнет безжалостный
рок

и погонит коней второпях по костям,
я заглажу рубцы своей тихой волною,
мне б отдать свой покой всем полям
и степям,
эту землю спасая от вечного зноя.

Я хочу доползти до широкой Оки,
разнося свои мягкие, тонкие нити…
Ну а там, где сцеплялись в узлы
буревые полки,
я свой свет погашу в долгожданном
зените!»

«Ну а я, —
голос слышен другой реки, —
Выбираю разрыв и полночные сети,
я смываю молчание с остывшей
земли,
мне предписано мчаться на север,
где ветер.

Там каленый металл превращают
в угли
звенящие стужи.
Мне яростный повод
вгрызаться в гранит на крутом
берегу —

мои сны.
В них шведы хрипели в тяжелых
кольчугах.
Я волною снесу преграды в снегах,
мне не нужен покой твоей южной
округи.

Мне по сердцу раскаты,
пусть и хищная мгла.
Я — беглянка, не знавшая рабского
плена.
Там, где полночь варяжские искры
зажгла,
на камнях пусть проступит
замерзшая пена.

Я помчусь через Клин, задевая
хребты,
где согласные звуки простуженно
лают.
Мне не надо твоей соловьиной черты
–
мне на севере стрелы огнем
расцветают!»

И расходятся реки на мили, кляня
монотонность и живость славянских
просторов,
а великая Волга все катит века,
накрывая собою бессмысленность
споров

с океанским размахом, в державном
порыве
и ярость смывая,
и кроткие сны,
в поцелуе одном и в объятии едином
воды живые мешает —
Клязьмы реки и реки Сестры.

***

Там, где древняя баба
в рваном бреду
на рогожу свалила рожденный
приплод,
там стези закрутились
на хрустальном пруду,
и пути высвящали искомый свой
ход.

И рядили они, и делили они:
сколько всыпать в судьбу диких искр
костра?
Сколько полночной тиши?
Сколько дать ей беды, сколько доли
святой?

И бездонность,
и меру
славянской души —
будто в зелье мешали
из пепла и трав,
примеряя к векам то огонь, то покой,
смирение смещая и буйственный
нрав…

И веси вливались
широкой рекой!
Заклинаниями был выстлан
раскидистый путь —
тот, что мчится рассвету навстречу,

где вдыхают мелиссу
и в смиренную грудь
принимают иконные свечи,
где баюкает колос певучую гладь,
где древляне вязали кружева,
чтоб свет вековой в благодать слова
превращал…

Но с южного оврага кричала
неродящая хмарь,
клича раскатанный в шеломы металл
и топор с бородой,
и каленый январь усмирял огнем
мятущийся вал!

И глядели созвездия с неба
впотьмах, как лютая стужа
на северный лад
высекает огонь на студеных ветрах,
и литовские стрелы ложатся
в распад.
В темных колодцах, где слепла земля,
узлом изощренным вязался затвор…
И шепот сочился, и эхом заря
зачинала не раз
огневой разговор.

Слетались кукушки
на ветки рассвета,
песни кричали в родимых лесах,
манили теплом уходящего лета —
был холод зимы в кукушиных глазах!

И калина вскипала рубиновой
кровью!
И солнце давилось
на рассвете
багрянцем!
Сухим ковылем в бешеном танце
годы слепые плели для веков
изголовье!

Стонала земля от палящего зноя,
в дыму задыхался дремлющий дол.
И вздымался шатром над колыбельным
покоем
раскаленный до белых снегов
ореол.

***

На ладонях ожог саванны,
в затылочной доле — лед,
мы вышли из красной ванны,
где время костьми поет,
нас было — гость и пепел Тобы,
в бутылочном горле — судьба,
а мы всё-таки выжили, чтобы
друг друга брать за рога,
мы в горло вживали скрипки,
кулаки меняли на миф,
ошибки — опять на ошибки
(что нам первобытный призыв?),
мы вымерзли-вымерзли все же,
ледяных человеков судьба,
теплая плоть, гладкая кожа,
ДНК — с кусочками льда,
столетие тянет снова
в багровую муть времен,
и по кругу: сначала — слово,
после — хрипы да стон.

***

Это ты англичанское эхо
в потайной запрятал ларец?
Оно и оттуда мешает вехам
размыкать эти тьмы сердец:

ишь, голландскими бредят тюльпанами,
тюрбан — он тюрбан завсегда,
уложить бы на дно окаянное
непутевые все поезда,

чтобы полночь пошла из Клина,
оседлав грозовой хребет,
пока времени гильотина
рассветный кромсает свет, —

пусть на стыках стального слога
выстилается путь из глубин,
а на нем — росой чертоговой
серебристо сверкает клин,

а проспишь, и пропустишь — лавиной
из-за всяких дальних столиц
хлынет альп ледяная глина
на расшатанный затвор ресниц.

А вот и утро плывет из Лобни,
замедляя ночной паром,
мы с тобой на площадке лобной
хорошо так стоим, вдвоем.

***

В пространстве нет ни швов, ни очертаний,
пространство дышит как один большой массив,
а миг живуч природой восклицаний,
он разбивает ледяной мотив:
как яростно и как необратимо
взбухает почка — жизни черновик,
пространство спит,
оно необозримо,
но вот в него влетает хриплый крик,
порывом жизни и отваги,
и время вязнет, словно колея,
но вдруг вскипает чувственная влага,
и вот побег уже натянут как струна,
цепляет воздух, требует права,
он весь
рожденье, ярость и весна,
вот под ногами стелется трава,
в ней каждый штрих пророчески нацелен,
и капли бьют в развинченный затвор,
и задыхается в бреду тяжелый ельник,
вчера вступивший с тишиною в уговор.

Пространство спит,
оно необозримо,
но вот в него влетает хриплый крик:
«Где деньги, Зина?»

***

Жесть седьмого числа
Вдоль ложбины легла,
Там косая метла
Все углы обмела,
Оттого что вода,
Разодравши бока,
Утекла в никуда,
Как густая река,
И теперь под пятой
Мелко скалится медь,
Ей приказ непростой —
Не дышать, а звенеть,
Мастер дегтем поддал
На дырявый подол,
Чтоб и стар, и млад,
В эту кузницу шел,
Хочешь вейся как дым,
Хочешь гирей застынь,
Над огнем золотым
Разливается синь,
Жизнь идет в коробок,
Искру поднеси,
И наступит срок,
Иже-еси на небеси,
И железо нутром,
Распахнувшись в зенит,
Под небесным шатром
Кричит и звенит,

А осьмого числа
Золотая руда
Осадила бока,
Дыбом встала вода,
Уняла колоброд,
Будет воля твоя,
И из черных болот
Вышла гарь бытия,
По остывшей меже,
Разгоняя нагар,
Петляет уже
Золотой самовар.

***

Ныряешь ты спешно в свой воротник,
тебе тишина — подмога,
сейчас ты измеришь квартала тупик
и самую малость порога,

и ключик блеснет на седьмом этаже,
закончив полуночный рейс,
и скрипнет трамвай на крутом вираже,
в старый вгрызаясь рельс,

а я постою здесь за тенью домов,
всего лишь в одном переулке,
побуду бродягой в кольце тупиков,
ключами звеня в полушубке.

***

Мы утечем из тесноты
вдоль веточек ольховых,
от этой вечной суеты —
к дыханию основы,

где даже в трещинах коры,
выписывая вечность,
дрожат пустоты до поры,
рождая безупречность,

там отсвет с дальних берегов
ложится неопасно,
и всякий трепетный листок
становится согласным,

в бездонной этой тишине,
в зазорах, сжатых тенью,
мы сразу будем прощены
и преданы цветенью,

и это будет тот побег,
где вместо точки в споре
мы искупаем целый век
в пульсирующем море.

***

Пустое гадание — искать в букваре
направления, дороги и смыслы,
ветер качает на старом дворе
полыни сухие кисти,

память, как старая пряха, бледна,
все стрижет васильковое поле,
но мне не добраться туда никак
сквозь гравий и осыпи соли.

Там, где туман наползает на склон,
мешая земное с небесным,
слышу, как бьет колокольный звон —
раскатом в пространстве тесном.

Ты далеко, на другом берегу,
сжимаешь в ладонях затишье,
я этот берег в себе берегу,
и ты этот звон услышишь.

***

Опять эти сумерки. Снег, как подтирка
заполняет колейный заброшенный ров,
жизнь — не судьба, а сплошная притирка
к холодному гулу больших
городов.

Там, где дурел светофор от бессменки,
вливаясь ледышкой в свинцовую муть,
футляр одиноко лежал у стенки,
и даже не думалось в него заглянуть.

Но поднят. Струна отозвалась некстати,
как вздох из-под спуда, как рокот в груди.
как содрогание в зимней печати,
как понимание, что все позади,

звук этот разный, горький и честный,
и запах махорки, и мерзлых перил,
с ним пел пассажир, никому не известный,
он в тамбуре долго и нервно курил,

в нем пела душа об отыгранном праве
вернуться туда, где так много друзей,
где скрипки покоятся в разных оправах,
и намертво вмерзших нету дверей.

Шел к дому футляр, провожаемый вьюгой,
та нещадно мешала сыпные огни
со снежной оскольчато-колкой пудрой,
с грядущими днями — ушедшие дни,

дрожала струна, и шипела вечность
о том, что в былое вернуться нельзя,
а миг, отрываясь лучинной свечкой,
мерцал и сгорал, за ветром скользя.

В футляре несу я и скрипку, и виолончель,
Как дурак и дура, не зная
куда и зачем,
хозяин за мною плетется, как вмерзшая в лед акварель
глядит, не спорит, и в пальцах
несет тишину,

но не тянет назад и будто несет по пятам
свой долг безвозвратный за этой метели срыв,
и вместе с футляром себя отдает позабытым богам,
ни на что не надеясь, но руки в карманы зарыв.

***

Знаешь, ведь хорошо я тебя
выдумала,
в черновиках и набросках,
выбрала профиль, подретушировала,
чтобы в деталях — неброско.

Голос твой — почти что эфир
на непонятных частотах,
но мне жаль сдавать этот мир
в архив на крутых поворотах,
в пыльный музейный фонд,
где все стоят по своим местам,
у них за спинами — горизонт,
он привязывает их к холстам.

Я же буду смотреть на тебя в упор,
как смотрят в ночное небо,
без лишних пустых разговоров,
кем ты был и кем не был.

И пускай мои мысли сплошной муляж,
и нежности — почти имитация,
ты все равно любимый мой персонаж,
с которым нельзя расставаться.
Да, декорации, ложь и грим,
и занавес скоро рухнет,
но мы в этом сценарии
договорим
на старой полночной кухне.

***

Скрипели старые дубы
в суровом переплете
и вены вздулись у судьбы
болотной этой плоти.

Гроза хлестала по лицу,
мешая грязь и хвою,
приблизив мысли к тупику,
а лето — к перепою,

но шторм утих, и в глубине,
где муть была когда-то,
явилась истина в вине
в скупых лучах заката.

Что в этом зеркале миров?
Все завязать, и сразу в путь,
чтоб в чистую зарю взглянуть
сквозь толщи вечных сосняков.

***

Шерстяная перчатка намокла от слез,
платок завязался в упрямый комок,
сколько мелких обид этот вечер принес
в этот вдруг опустевший загон, —
как некстати сломался замок.

Вдоль канав улеглась сквозная лазурь,
нервный шорох ветвей затыкает гортань,
эта глупая гордость в преддверии бурь
нас опутала, будто дырявая ткань.
В темноте поседела герань.

К ночи запах земли и намокшей ольхи
проникает сквозь щели в сырое жилье,
потемневший ландшафт выдыхает грехи,
а рассохшийся шкаф в наступившей тиши
начинает ворчанье свое.

Где-то вязнет в тумане пустой горизонт,
под дверью росток огибает порог,
и втянется ночь в остывающий фронт,
размывая следы на распутье дорог.
Закрытую дверь не держит замок.

***

Сквозь дощатый забор, сквозь густую, смолистую охру,
где земля, раскалясь, тяжелеет, но отпускает в ногах,
сад врывается в грудь, напоенный репьем и черемухой мокрой,
и побегом вскипает в широких, как сон, небесах,

чтоб не просто вдохнуть, а в зенит влететь коленкором,
разрывая суставы и путаясь в синем шитье,
а внизу этот город — бревенчатым, раскиданным коробом —
остается стоять в неизменном своем забытье,
как легко и напевно струится потоками света
переправа в лазурь, где секунды теряют свой счет,
земля где-то там — лишь осколком далекого лета, —
все дальше и дальше и вниз в тишину не зовет,

это шаг не в пустоты, а в самую легкую завязь
под крылом, что вздымает горячие вихри в лучах,
и зрачки раскалённых пространств, расширяясь,
темнеют, и вечность качает весь мир на весах,

мечутся в гуле подоконник, ольха и стропила,
а мир уносящая ввысь первозданная сила
превращает полет в нескончаемый праздничный плен,
не суля ни на землю возврата, ни иных перемен.

***

Сиена древняя плавилась от зноя,
и луч отвесный падал в темноту,
крутило солнце колесо земное,
включив в расчет планеты красоту.

и оптика, не ведая пощады
срезала мили, как сухую рожь,
ведь нет для мысли никакой преграды,
когда ты вечность эту жадно пьешь:

линейный срез, очерченный в песке,
вдруг ожил, переполнившись объемом, —
пространство билось в мыслящей руке,
подвластное космическим законам.

***

Может, где-то и есть княжны
Но у нас их нет
Их черты, говорят, нежны?
А у нас вот мох и рассвет,

и паутиной тянем мы нить —
тончайшая в мире струна, —
чтобы золото хвойное пить,
не хмелея, до самого дна.

Рассыпает черничный закат
самородки на влажную прель,
и у каждого пня напрокат —
бриллиантовая капель.

Светит солнце сквозь полог крон,
осыпая сусальную медь…
А так — нету у нас княжон,
да и незачем их иметь.

***

Золотым ураганом из темных глубин,
из прохлады, пахнущей воском и медом,
вылетает на солнце полуденный гимн,
подчиняясь созвучьем космическим сводам.

Эти пчелы — как птицы, как струнный обвал,
это стрелы, летящие к вечному лету,
этот вихорь и воздух узлом завязал,
и ложится роса по сырому фальцету.

Там, где прячется ягода в донную тень,
где секундная ось замедляет движенье,
осыпается мёдом размеренный день,
принимая гудящих хоров наваждение,

чтоб не шум, а покой запечатался в лак, —
и густеет приволье в предчувствии пущем,
что и зимние стужи не прервут этот шаг,
оставляющий мир золотым и цветущим.

Улитка-левша
(с редкой левозакрученной раковиной)

Против часовой стрелки — это не значит против
течения сока в стеблях, движенья подспудных вод,
просто на влажных скалах, в туманной глуши болот,
кто-то чертил узоры в иной, заповедной плоти.

Пока золотое солнце катится в правый бок,
слизывая росу с папоротниковых стрел,
здесь, на изнанке лета, теплится свой предел,
тайный, изящный, левый, медленный завиток.

Это избыток жизни, роскошь её причуд,
кружево мелких рёбер, вросшее в старый мох,
там, где лесные чащи делают долгий вдох,
тихо из самой бездны капли к ней идут.

Мир выпрямляет спину, строит свои леса,
тянется кверху, к свету, чертит ровней круги,
но у земли в подоле вечные есть долги
этой обратной силе, верящей в небеса.

Там, где тяжёлый муссон разбивается о бамбук,
где склоны лесные прячут гнилой валежник,
в топях прохладных, зимних не знавших вьюг,
теплится этот хрупкий, вывернутый подснежник.

***

Здесь небо плоское и древнее.
Спит под корявыми деревьями
долина выжженных камней —
пространство, сжатое границами,
и время замерло, зарницами
бликуя в накипи солей.

Сухая глина. Дно озерное.
Следы тяжелые, узорные,
и камни, вставшие в каре.
Они ползут, томимы жаждою,
всей тяжестью и клеткой каждою
навстречу призрачной заре.

Ни рук, ни тяги, ни дыхания —
лишь ветра злое колыхание,
и всюду твердый солончак,
но движет глыбами огромными
какое-то влечение упорное,
и ход чеканится впотьмах.

Рабы земного притяжения
все совершают те движения,
чертя неровные пути
сквозь соль, века и расстояния,
и лишь глубокое незнание
им помогают доползти.

***

Русские степи — двор проходной!
А ты попробуй — пройдись!
Здесь за курганом, за кочевой
тенью — нет, не смерть, а жизнь.

Ветер сечёт, не жалея лица,
гонит коней впотьмах,
коли не видишь здесь стен и крыльца,
знай — у земли зола на губах.

Каждому встречному — настежь окно,
каждому вольному — небо и нож.
Сколько веков на пути крещено?
Ковыль на ковыль, рожь на рожь.

Шли напролом из глухих тупиков,
да вот же — поля, равнины, простор,
но сказ этот не про цепи постов,
не про оружейный створ,

а про то, как рубился проход впотьмах,
и крепостью стал чернозём,
и там, где ложился кочующий страх,
мы стебли теперь куём.

В землю врастали заставы, кресты,
корни, плуги, города,
вместо открытой и злой пустоты —
здесь кровная наша земля.

***

Издревле Хронос вращал хрустальные оси,
и солнце порядком лучи возвращало к зениту,
и весны цвели, и золотом плавились осени,
мир неизменно кружил, меняя привычно свиту, —
но отчего-то притих в вековом монолите:

медленным шагом Коцит облачается в плотные латы,
время теряет текучесть у края полярного круга,
свет, отражаясь от зимних зеркал,
остывает в закате,
в вещных полях все теряет взаимную тягу.

Наглухо льдами смыкая холодные струи,
ночь замедляет свой ход в глухом подземелье,
по угасшей орбите, где ветры веками густели,
вечность одиноко летит в параллели.

***

Вечер уносит иголки и ветошь в холодную ночь,
Космос качает на ржавых весах угасающий берег.
Просто ладонью эту память усталую выброси прочь —
В зиму глухую, в которую больше не верю.
Время теряет тепло и становится просто песком,
Хвоя сухая ложится слоями на ржавые комья.
Если ты помнишь меня, то забудь, не думай о том,
Как замерзает ландшафт, ничего о тебе не упомнив.
Это не смерть, а пространство, забравшее тайный объем,
Сны и видения смывая в слепой круговерти.
Нам под тяжелым поднебесным настилом вдвоем
Больше о жизни не спорить, не думать о смерти.
Сосны стоят как колонны ушедшей в тупик стороны,
Кора их чернеет, не пахнет смолою и дегтем.
Ветер невнятно прочешет эти глухие холмы —
Тех, кто пришел, не коснуться испуганным локтем.

***

Этот грозный в истории мира седой океан
нынче тих и покоен, в разливах сонной глуши
стирает разметку безбрежный его туман,
оставляя все шансы для каждой мятежной души.

Он раскинулся — томный, дремотный, дивный, благой,
он будто бы вымытый пол утру в алтаре,
и качает суда, как лампады, своей волной,
растворяя зенит в разлитом у скал серебре.

А в груди у него — ураганы, разломы и плиты,
и тяжелая пена, готовая смыть города,
в подводных лесах чьи-то мачты навеки зарыты,
и хрипит в темноте леденящая души вода.

Но сейчас убаюкан весь вихрь в чешуйчатых складках,
застыла свирепая сила, покорна лучу,
и матросы во тьме разгадают простые загадки,
касаясь ладонями того, что не по плечу.

И на картах застынет минутная эта уловка —
тот единственный миг, где затихла слепая стихия,
скрывая штормов и безжалостных волн потасовку,
чтоб в веках зазвучало это великое имя — Тихий.

***

Эй, расступайся, земля стовековая!
Ярый Перун ошалел от тепла,
лезет из наста трава луговая,
талая жижа из недр потекла.

Что за причуда и дивное диво!
Снежные бабы целуют шмелей!
Зимнее лето вскипает игриво
пряной закваской раздольных полей.

Пар валит истомой от белого лога,
лешие чешут мохнатый живот,
красное солнце у дальнего стога
снежную кашу из крынки жует.

Во льдах по колено, по плечи в июне —
скачет Коляда на рыжем быке,
брызжут лучами горячие слюни,
зелень трепещет в морозной руке.

Радуйся, хлынь, кружась в карнавале,
стужу и зной замеси в кулаке!
Летней зимой себя окричали
эпохи умы в вековом тупике.

***

Полечу я, значит, в Бахрейн,
там живут беззаботно бахрейны —
они ходят в ночные кофейни
музыку слушать озерного Рейна,

сами выгнутся, точно ключи
от старинных немецких клавесинов,
и поют в раскалённой ночи
среди местных царей и жасминов.

Голоса-то ведь — как чистый хрусталь,
что везут верблюды к причалу,
направляя в германскую даль
глубинные первоначала.

Бахрейны-то летят в глубину
от самых краев залива
и слушают там тишину,
а обратно — с новым приливом,

вынося наружу не медь,
не кораллы со дна морского, —
жемчуга, что умеют петь
пуще шпильмана любого.

Как заголосят все они хором
про реки, пустыни и бремя,
так в далёком, строгом Бремене
интерес просыпается к хоррорам.

То-то в Бремене варят сусло
да целуют ослов в копыта,
даже Баху в кантатное русло
немного Востока налито.

***

Проталина шире у яра,
где ветки раскинул орешник,
в воздухе теплом из пара
расцвел удивительный вешник:

у корки ледовой и тонкой
из капель, согретых землёю,
поднялся, подёрнутый пленкой,
лебяжий чертог над водою,

и в воздухе над этим чертогом —
кристаллы парящего сада,
живущие совсем недолго —
и больше бессмертья не надо.

Встанешь у берега цаплей,
сорвешь бутон изумрудный,
дыхнёшь — он становится каплей,
простое, бесцельное чудо…

***

Теряют зной песчаные пригорки,
вечерний сумрак падает на мыс,
и океан, обкусанный по кромке,
вздымает к небу штормовую высь.

И солнце бьется в створках горизонта,
зажатое меж тучей и волной,
а край разломанного фронта
залился мутной, серой пеленой.

Но вдруг — пронзительный,
тончайший проблеск,
и выстрел в пасмурную падь —
и воды скрыли солнца оттиск,
заставив бездну замолчать.

Заряд потух, и океан угас,
и множит огоньки уже прохлада,
и темнота глотает их в усладе
в свой тихий эстафетный час.

***

Взметнулся флаг над сонною державой,
кровавый отсвет пал на два герба,
там — мачты в Киле, здесь — туман заставы,
и злая, вьюжная, вершится в нас судьба,
в полях чужих запутались измены,
а «верный друг» считает барыши,
сквозь гомон пушек слышен вой гиены
и холод интервентской тишины,
на брата брат — в метели, в черном дыме,
в закатах меркнут рыцарские сны,
под именами горькими, чужими
здесь все — закланники на алтаре войны,
мир пошатнулся, гулкие ступени
ведут в подвал, и гаснут фонари,
во тьме, в крови и серой пене
восходят из купелей две зари,
одна — с надрывным, долгим гулом,
другая — адской тишиной,
одна грозит штыком и караулом,
другая зреет черною луной,
двойное пламя в зеркале столетья,
два лика тьмы, безмолвие знамен,
двух давних зорь тяжелое сплетенье
сгущает гарью морок трех времен,
и вьюга круг замкнёт калёный,
и захлебнётся мрак в чужой крови,
и вздрогнет мир, багрянцем напоённый
и новым отблеском зари.

***

Откуда у солнца столько терпения, если круглая плоская луна,
не имея ни веса, ни собственного огня,
наползает сбоку, темной гладью всего полотна,
пытаясь вычесть из календаря три четверти дня?

Имеет ли право геометрия так нагло внедряться в пазы
нашего зрения, требуя от зрачка
относительной слепоты? И к чему вообще эти тазы
темноты, пролитые на макушку неспящего городка?

Должно быть, светило живет масштабами высоты —
ему, в сущности, наплевать на испуг коней
и на то, как внизу, на смотровой, устроился ты,
усевшись между двух одинаково странных людей.

Поэтому солнце не гаснет, а просто уходит в обход,
рисуя во тьме резкий, сияющий обод-свищ
как способ сказать, что любой роковой поворот
оставляет лазейку для тех, кто блажен и нищ.

А навязчивый вымысел, ставший железной ценой,
меняет углы — и солнце глядит свысока,
как на всякой арене, зажатой меж нами и тьмой,
коронации длятся — всего три четверти щелчка.

***

Здесь тридцать атмосфер, и рвется прядь —
канат пеньковый, толщиной в запястье,
не выдержал, и некому пенять
на то, что судно делится на части.

Свободный хвост, скрутившийся спиралью,
летит назад, калеча леера.
Так разобщение становится деталью
портовых буден, истина стара.

А этот трос, мочалящийся в мыле,
уходит вглубь, свободный от весла, —
ему теперь стократ разрешено
быть просто паклей. И гавань заросла.

***

Будь я Красной Шапочкой,
я бы села на волка верхом,
считая лесную чащу
не страшным сном, а обжитым
жильем,
где дышится чище и чаще.

Зачем в корзинке нести пирог
по проторенным кем-то тропам?
Я выберу тысячу нехоженых дорог
к еще не открытым Европам.

Пусть бабушка ждет, коротая
свой век,
а охотники чистят ружья,
мне нужен не домик, а лохматый бег
сквозь стужу и через лужи.

Я бы вцепилась в загривок, в густую
шерсть,
забыв про всякие страхи,
у волка в глазах — не голод, а весть
о вольной-превольной рубахе.

А если финал неизбежен как взмах ножа,
или иная завязка, —
мы будем нестись все равно не дрожа,
и перепрыгнем в другую сказку.

напишем бабушке: «Всё хорошо,
леса огибаем клином,
в кювете застрял пушистый бобр
с Царевичем-эллином,

они за Жар-птицей неслись во весь опор
верхом на не нашем Иване,
и это был не самый изящный вздор
в нашем лесном романе».

Сказка о Золушке
(в 5-и частях)

I

Скажу по секрету, я и есть Золушка,
правда, туфельки жмут в подъеме,
но цежу эту жизнь я по зернышку,
забавляя чертей в водоеме.
Дорога петляет, ходит кругами,
кони глядят виновато,
вязнут по горло, редея шагами
в кисельном тумане заката,
а там, где смыкается небо с землей,
в какой-то шальной круговерти
старый пастух за отвесной скалой
с тенями толкует о смерти
и гонит отары в небесный загон,
там и звезды как белые овцы,
и шепчет сухими губами канон,
пока на него не прольется
такая прозрачная и горькая синь,
что страшно дышать, над обрывом
я сердце свое в этот омут закину
и выплыву сразу счастливой,
но сердце не хочет, тянет к земле,
к пыли золотой над речкой Неглинной,
старый сверчок на запечном угле
ему песни поет о судьбе недлинной.

II

И если б не Петровская Нина,
никогда б не звалась я Мальвиной,
осталась бы навсегда в Италии,
там под солнцем — иные сандалии,
осталась бы я феей, лазурной странницей,
духом, не знавшим фарфора и клетки,
чей голос туманами тянется,
золотом ложится на старые фрески,
пила б я не кукольный чай, а кьянти,
точно не носила бы панталон в пене,
и, может, с одним величавым Данте
даже нашла бы смысл в измене,
но это искусство — быть хрупкой и нежной —
открыло во мне иную свободу —
Петрарку-то я читаю как прежде,
а вот Толстого — всей русской своей душою.

III

А по сути — лягушка лягушкой, та ипостась,
что замерла с короной в болоте,
но скользкая кожа — не просто напасть,
а застывший болотный мой обморок:
стрела прочертила пунктир по кривой,
но потом потерялась в низине,
исчезала стрела в траве ледяной
как в липкой сырой паутине,
а племя болотное тянет в камыш,
сжимаясь в холодные складки:
«Ах, нет зова огня? Так нам по сердцу тишь
и верность своей лихорадке».

Трудно поверить в этот замес,
меж сердцем и бренной изнанкой
забытый сюжет — как двойной палимпсест,
как затертая в полях «оборванка»,
но — «Пошто Я Царевна?! Пусть сбоит алгоритм,
и в бешеном танце взлетает ряска,
пусть вобьется новый, отчаянный ритм
в эту болотную сказку!»
треск в ольховых ветвях
распорол тишину,
сеет леший на пнях
не росу — белену,
и кипит береста,
и плюется костер,
гонит прочь из кустов
весь болотный собор,
муть за чётным числом
вдоль коряг поползла,
бьёт по ряске веслом
осатанелая мгла,
хочешь — пеной взлетай,
хочешь — в тину заройся,
в лягушачий наш край
я внесу беспокойство,
и на скользкий порог,
разрезая угар,
вдруг выходит жених
Дымогньпар,
на подошвах — зола,
вместо взгляда — разряд,
за спиной три крыла
огневые горят,
он корону несёт
к раскалённой губе,
замыкая вопрос
в лягушачьей судьбе.

IV

Как начала писать, так не уймусь,
всё в чернильнице — льды и нежности,
и сказки, и внезапная грусть
эпистолярной безбрежности,

слов легионы аж бегут за границы
конвертов — тесно сказочному сброду,
толкаются, кричат, с выгнутых страниц
прыгают все, кто ищет свободы.

Смятение, тарарам, разброд:
Мальвина в красном, в газовой накидке,
забыт Пьеро, и Пух не ищет мед,
он шлет привет русалке пылкий,

а Буратино, деревянный франт,
в хрустальный льет башмак мадеры
и Золушке навязывает бант,
забыв зачем, и путая размеры,

вон рыцарь в жабьей чешуе
глотает пыль в карете у причала,
и Белоснежка в нежном забытьи
на колобка семь гномов променяла,

сместилась ось, запутанный сюжет
диктует новые, нелепые законы:
то Серый волк идет на факультет,
то Спящую целуют скорпионы,

смешалось все: и туфелька, и нос,
и кованый сундук, и розы в глине,
а кто-то в этот хаос не пророс,
застряв в чернильнице-трясине.

Что ж, и без меня пьют липы чай,
и примеряют жабы платья в розах,
и сказочно плывет размеренный отчай
по застывшим петровским морозам.

V

Вот так и пишем, а конца-то нет,
Мальвины, Золушки, платья,
мы тут все вместе решили в обед —
будем всем скопом уединяться:

Золушка нынче в глухом сюртуке
постигает алхимию стали,
Царевна-Лягушка с пером в руке
пишет, о чем прежде молчала,

Пьеро, запершись в мезонине,
чертит формулу вечных часов,
Мальвина хрустальной гордыни
пьет только из своих башмачков,

гномов семерка, оставив руду,
разбрелась по своим углам,
кто бьет в литавры в хрустальном ряду,
кто — предан кистям и холстам,

Серый волк у нас тоже затворник,
движенье вычисляет светил,
а Кощей — восторженный дворник,
всех чистотой своей ослепил.

Я — практически кроткий итог,
лаконичность застывшего знака,
над крышей моей — белый поток,
вокруг тишина, ни вздохов, ни ахов.

***

И нет никакой Британии,
одни лишь в мозгу метания,
а мы тут пьём чай
почти невзначай
и в меру своего воспитания
его не остужаем.

Но была, говорят, Испания,
теперь — одно название,
измяли в труху,
в мех на доху,
теперь она — лишь мания
у ветра на слуху.

Мечтать надо об Африке,
чтоб плыть по бумажной фабрике,
где слон в гамаке,
с попкорном в руке,
назло любой иной демографии
поёт на своём языке.

Но и Африки не бывает,
как и Турции с Парагваем,
на медном тазу,
в метель и грозу
мы семечки разгрызаем
и смотрим в небесную бирюзу.

***

Игра в города — это дело сухое.
Сначала идёт Ленинград, а потом…
Потом ничего. Всё остальное — плохое.
Я пью этот город огромным глотком.
На «Д» — Дорогомилово
(странное слово),
там баба упала с окна на чердак,
ты крикнешь ей: «Здравствуй!», а она сурово
в ответ всем покажет суровый кулак.
На «К» — вон Калуга, там живут калужане,
они едят кашу и смотрят в комод,
один калужанин сидел в чемодане,
пока не настал какой-то там год.
На «О» — Одоев или, может быть, Орша?
Какая мне, впрочем, теперь уже разница?
Чем город длиннее, тем житель в нём горше,
а если он круглый — то он безобразница!
Что буквы жевать как кусок антрацита?
«Я» — Ялта! А я — ядовитый утюг!
Игра завершилась, карета разбита:
я выхожу, испуская испуг.

***

Муза не едет, сломалось колесо,
сердце поет, выходит «ц-ц-о»,
стучит как часы на каминной доске,
мышь приютилась под крышей пенсне,

вечер как вечер, телефон звонит,
падает на пол, пол — магнит,
звонит-трясется — «цррррр»,
пойду, отнесу пенсне сыр,

дворник с метлой постоит у ворот,
ключик в замке совершит оборот,
смыслы событий — долгий ночлег.
Мышка к утру догрызает обед.

***

Апрель надел свой старый бант
и не летит, никак, никак,
сугроб торчит как комендант
и не уходит, он дурак,

в сердце стучит костяное перо,
муза мятежная застряла в метро,
муза томлений стоит за крупой,
бог одуванчиков ей машет рукой,

а одуванчики вышли на лед:
Льдинка! Я льдинка! И каждый врет!

***

Пошел человек за пипеткой
и несет в кошельке аптеку,
зуб не кусал, лоб не стонал,
человек встал и в сугроб упал,
думает: «Ну и февраль!
А прошлого мне не жаль,
буду с новым кошельком летать
в бубен бить, в бубен играть,
на пестром будут паркете
башмачки стоять как дети.
И раз — щелчок, два — замок,
перекрестье рук и ног:
там, где холод был и страх,
скрипкой пилит в волосах.
Скрипка кончилась, темно.
Солнце прыгнуло в окно,
ну а с ним с веревкой бирка —
вот весна, вот цирк, вот стирка.

***

Повисло утро белым шумом
на ветки крапчатой берёзы.
Она стоит как караул
своей метаморфозы.

Фонарь согнулся мокрым гусем
и светит в собственный карман.
Пожалуй, всё: тут задержусь,
мне по душе весь этот план.

***

Шёл по лесу гражданин,
он туда пошел один.
Раз — и руки приподнял,
два — и птицу не поймал.
Потому что весь черничник,
весь коряжник и брусничник
стали скользкими, как мыло,
всё вокруг стеклом застыло!
Что за фокус? Что за стать?
Невозможно устоять!
Каждый листик — как сухарик,
а в сухарике — фонарик.
Всё звенит, трещит и бьётся,
наверху ворона вьётся,
удивляется ворона:
Где гнездо, а где корона?
Мир упал и стал прозрачным,
неподвижным и забавным.
Ты за веточку берёшься —
та хрустит, а ты смеёшься.
Что за зимняя прореха —
много хруста, много эха!

Эволюция человечества (рэп-либретто)

Пар, грязь,
живая связь
липких бактерий и сред,
мир проснулся, смеясь,
не было слова «нет»,

шум, треск,
первый всплеск
в океаническом котле,
рыбьей чешуи блеск
на почти неостывшей золе,

торф, лес
до небес,
хвощ, папоротник-гигант,
у природы свой интерес,
свой природный десант,

зев, рык,
солнца блик
зверя ловит за хвост,
ночь, пещера, крик,
колючки блестят у звезд,

грохот, стук,
а камень крут,
из камня — первый топор,
первый пушистый друг
не скоро войдет во двор,

крик, свист,
день лучист,
уголь оставляет след,
мамонт — первый артист,
которого увидел свет,

зов и гул,
ветер подул,
глина, диски и круг,
мир в города шагнул,
тишину роняя из рук,

шум, набат,
золото — яд,
дрожат беспризорные тени,
в небо ведет нас зиккурат,
кирпич сырой, крутые ступени,

хлябь, твердь,
cuprum-медь,
медь научилась гореть,
колесницы свистят у реки,
их научили свистеть
сжатые в страх кулаки,

ропот, тревога,
моря у порогов,
свитки гниют, падают троны,
прежнего не станет бога —
ветра доносятся стоны,

дали Китая,
метром пронзая,
ритмы корежатся тоннами,
мысль нагая и золотая
вечно ищет законы,

кровь на песке,
дорога в рывке,
держит империя всех на чеке,
варево, пепел, дым над костром,
варвар заходит в дом,

новый квест
на тысячи верст,
рыцарь в железе, конь у ворот,
тень от собора, купол, крест,
смерть за углом стережет,

время течет,
пламень и лед
рвут горизонт пополам,
печатный станок родил слова,
кружись, летай, голова,

пудра и пыль,
сказки и быль,
паркета блеск, скрип колеса,
закипай под землею, вода,
заезжай в города поезда,

(к чему истории девичьи глаза?)

грохот и гром
за широким окном,
скрежет и сбой —
ты кто такой?
ты гость?
ты прорубал окно? —
сталь прогрызает человечью кость,

новый код,
человечий род
в облаке данных, бинарная пыль,
эфемерных законов свод,
это не корень, костыль,

всё чисто
(к чему артисты?),
алгоритмы, точный расчет,
сердце из фторопласта
меньше ноет, меньше поет,

стекло,
время стекло
в узкое горло сита,
всё, что когда-то жгло,
в сети теперь повисит

миги и миг,
беззвучен крик
во всяком стерильном раю,
мир — это просто клик
у бездны на самом краю.

***

В дыханье простора,
в студеных вершинах
сияют озера
в мелких морщинах,

стынет сияние
в изгибах базальта,
на отро́ги роняя
драпри из смальты,

угрюмые грифы
с пиков столовых
на горные рифы
взирают сурово,

следы росомахи
красуются в насте
древними знаками
охотничьей страсти,

и запах брусники
мешается с хвоей,
скрипичные вскрики —
с вечным покоем,

в узких распадках
гмелина робко
от скуки играет
полярными токами.

Вдруг треск ледяного
на озере панциря
срывается гулом
разлома пространства,

сверкают железом
тяжелые тучи,
мерцанием изрезав
ледовые кручи,

ты полон порыва
всей мощью гранита
встретить разливы
огня и реликта,

и столп — монолитом,
да даль без предела,
к высям открытым
душа полетела.

Отвесные скалы —
в шрамах столетий —
свой древний оскал
растворяют в рассвете,

потоками лавы,
застывшей в молчанье,
земные оправы
сберегут мироздание.

В дыханье простора,
в студеных вершинах
зияют озера
в мелких морщинах.

***

У богов — свой тариф, у сиротства — свои законы,
эта рваная рана не стянется никогда,
и когда под ногами рушатся все перроны,
остается лишь звук, уходящий по проводам.

Я пишу тебе из разлуки, как из траншеи,
где слова — это всё, чем можно хоть что-то сберечь,
потому что ничто не спасёт, не прикроет шею,
если нас не удержит эта сухая речь.

Я пишу в пустоту, –ты, я верю, услышишь
эту общую боль и огромное это «прости»,
для тебя, для себя, для тех, кто повыше,
как прощение, способное всех спасти.

Потому что когда опускаются руки, немея,
и уходят родные в глухой, безвозвратный дым,
мы становимся старше, от боли своей каменея,
и исцеляемся только словом —
чистым, ответным, живым.

***

Ночь.
Гул канонады за краем села.
В ледяном ореоле
о победе мечтают двое —
дед мой и младший его брат.
Оба навечно
остались лежать
в заснеженном поле,
на двоих
разделили жребий солдата.
А в окна их дома
стучался седой небосвод,
в сумерки комнат,
где пахло уютом и старым
сухим иссопом,
возвращались они
год за годом, за годом год:
то младший — Гарник (Агнец) —
шёл по тропам,
мать окликая,
прорывая ночной переплёт,
то ей снился привал
в тишине у порога,
то кто-то, кто с сыном
в атаку вставал,
грудью прикрыв
у глухого отрога,
бил его по плечу:
«Ну, Гарний! Живем!»,
и мир расцветал
под ржавым дождем,

и Гарний — как вспышка,
как крик, как весна —
из недр возвращался
библейского сна.
Курили. В дыму
проступали черты
родного крыльца и
немыслимой дали.
и будто они не ушли.
Они для Победы остались.

Две точки над вечностью: лингвистический триптих

I

Всё началось с борьбы за корень слова,
где «мокроступы» бились против «слёз».
Мы спорим вновь, и всё до боли ново,
всё тот же маятник, летящий под откос.

А жизнь течет по собственным каналам,
в ней нет цензуры, страха и границ.
Ей рамок словаря навечно мало,
ей наплевать на хор застывших лиц.

Она возьмет без памяти и злобы —
что ей угодно, то и вплетено:
и дедовский напев высокой пробы,
и емких смыслов импортных зерно.
Язык живой — он сам себя излечит,
отбросит шлак, оставит только суть.
Никто из нас его не покалечит,
пока в нем дышит человечий путь.

II

Что за слёзы? Кто придумал? Отчего их не чертили
на крахмальных, на надушенных платках.
Отчего «и сльзы и рцы» уплыли?
А какое вещество застывало на губах?

Что за слабость? Слишком мягко, слишком зыбко для гранита,
для столетия, где слово — это кованый сапог,
где кафтаны застегнули, и история пробита,
и глядит ветхозаветный, предсказуемый порок.

Всё ж впечатались две точки над букварною бедою,
и текли они ручьями — по ухабам, по умам,
но вчерашнее умилье размывается водою
и апгрейтно, слайсно, вайбно примеряет новый шарм —

код ничей, сквозной и чистый —
в линках, скроллах и глаголах,
в древнем «аки» новых сторис,
в сопряженье дивных слов.
Он, как свет живой, лучистый,
прорастет в персивных школах,
не совсем palpable поросль —
но вполне до скончания веков.

III

Сльзы и селзы — это один и тот же народ,
это всехний замес, пена ушедших веков.
А слёзы рядятся в слезы, в поход
уходя снова, у крутых берегов.

Селзы же торгуют, смещая акценты-числа,
брокеры смыслов, логика их — рост и движенье.
Но из каких сёл селзов этих к нам занесло?
В каком из процессов лингво-преображенья?

***

Зачем летать на Марс за тишиною,
а на Венеру — за медным её теплом?
Седой старик бродил за мною
и поведал: «Не ходи напролом,
а встречай тишину у обрыва,
и жар тебя ждёт в родном очаге,
мир — это ком из морского ила,
ты ведь не цапля на одной ноге.
Гляди — вон та дорога в небо,
как этот пробор на моей щеке,
я накормлю тебя белым хлебом,
размоченным в парном молоке.
Смотри — и лапти уже без лыка,
выберешь новый, уверенный бег:
ты здесь — владыка, а там — безликий,
куда ты собрался, мил человек?».

Монолог Шишковой Леси
(Лирико-иронический триптих)

I

Я шагну в эту бледную слякоть,
где проспекты молчат в забытьи,
февралями не надобно плакать,
коль уж вскрылись иные ручьи.
Наши буквы на мокрых витринах
вдруг прозрели в сияньи зари,
и в ослепших ночных магазинах
зажигаются вновь фонари.
Наш язык — это солнце круглое,
над сырой он взойдет травой,
не нужны нам словечки смуглые
в этой снежной глуши родной:
по-французски не плачет здесь вьюга,
итальянским не бредит закат,
ведь в объятьях лесного круга
только русские сосны шумят.
К чему нам здесь аглицизмы?
Мы отправим их в темный шкаф,
зацветет наш родной алогизм
и плюнет в словесный проштраф!

II

Как заглянешь к вам в кабак,
так из каждого выщелка вонь,
вы сорите словами так,
что хоть сердцу в слезах затонь.

Что вы мямлите? «Кринж» и «бренд»?
Разве ж это язык отцов?
Это ж плесень чужих легенд
на губах городских подлецов,
наши вывески — божий свет,
наша грамота — звон ручья,
а у вас и названий-то нет,
всё чужое и вся ничья,
«адельфур» ваш — лесной блуд,
«суперфуд» — ремешок сухой,
так заморских чертей зовут,
нарушающих наш покой,
«маркетплейс» — это просто торг,
«овертайм» — недосып в поту,
приберечь бы наш русский восторг,
а на эту всю вашу тщету — тьфу!
«Коворкинг» — сходняк в избе,
«клининг» — веник да решето,
все, что надобно мне и тебе —
не офисы всякие да пальто,
а перевесть бы всё на язык,
где роса тяжела как сталь,
чтобы каждый у нас тут привык
не смотреть в чужеродную даль.
Да не гляди мне как токсик в бровь,
улыбнись-ка по-нашински мне:
так и клокочет в наших-то кровь,
а у ихних — лишь флуд в вине.

III

Что значит эта просьба об «апгрейде»?!
Быть может, злых бокалов звон?
Иль в чуждом этом диком свете
звучал разлуки вещий стон?

А сумрачный светил балкон?
Я думала, ты — тип мятежный,
изыск заморской слепоты,
а ты ведь просто хам прибрежный,
толкнул девицу с высоты
в объятья черной пустоты.
Я в них летела, ветки выли,
им подпевал «абьюз» небес,
а ты, однако, юзер в мыле
и гад, попутавший наш лес.
К тебе утрачен интерес!
Пускай же гаснет вычурный неон,
сметая фальшь заемных бредней,
пойду-ка я на свой балкон
и встречу их денек последний
под чистый колокольный звон!

***

Пусть в мозгах и след энтропии,
но в подкорке запретный инстинкт,
нам дано в биощит-терапии
штормовой сколотить лабиринт.
Раз мы в узком проливе гребцы
погребем все сильней и сильней,
нас ветрами носили отцы
в пористых тканях костей.
Для воды мы и сами как хлорка,
мы ж печатью смиряем гниль,
мы дружной нашей прослойкой
загоняем хоть звездную пыль.
Пыль — та же ветошь и плесень,
мы вобьем свой пронзительный взгляд
в этот мир, он слишком чудесен,
мы его запакуем в обряд,
отсылая бесконечно титры
в чересчур вопрошающий свет,
под стеклянные пряча фильтры
свой прямой и звериный ответ.
Инфосеть мы задушим-придушим,
по живому рубанем РНК,
мы в костях скакали по сушам,
с этой сетью не дрогнет рука.
Для того биощит нам и нужен —
как вене стерильный зажим.
Биощит, часом, сам не простужен?
Если что, и тебя сподлежим.

Монолог плюшевого медведя
(в 3-х частях)

I

У меня внутри ничего не осталось, понимаешь?
Только старые серые нити да клочья ваты.
Ты вот пальцем этот ворох трогаешь, нажимаешь,
а я ведь помню, что когда-то был очень богатым.

Мне ведь дважды — а может, трижды, я путаю даты —
зашивали в грудь золотые кольца. Всего и не вспомнить:
бабушкин плач, прощанье с детством, горечь утраты,
в меня запрятали всё, что осталось от комнат.

Теперь я легок, золота во мне — ни грамма.
Шов раскрой — будет как рот у того, кто хотел закричать, но вышло
только эхо от «ох». И тут у нас — панорама:
ножницы, иглы, нитки, грелка из косточек вишни.

Я мигаю пластмассовым глазом пупсу в дурацком кепи
и хромому слону, у которого ухо давно отвалилось.
Мы — просто вещи, и в этой непищевой цепи —
лишь свидетели, она не на нас открылась.

Эй, — мигаю всем, — слышите?
Хватит дрожать на полке.
Ну, подумаешь, выпотрошат —
это вообще не больно.

У мамы лицо спокойно, достала свою работу.
Будет праздник, я знаю. И мандарины, и свечи.
Я плюшевую лапу отдаю за субботу,
за ласку, за эту память, уходящую в вечность.
Зашейте меня. Только красиво, слышите?

II

Ты ведь не забыла, как праздник сменился дрожью?
Никто не смеялся. Свечи сгорали в прах.
Меня не качали, меня целовали ложью,
прятали что-то тяжелое в моих животах.
Под плюшевой кожей, у самого сердца мишки,
солнце тяжелое пряталось, поджав лучи.
Я стал хранителем, тайной из старой книжки,
игрушкой, заставившей ребенка молчать в ночи.
Потом я стал невесомым, пустым, как ночные тени,
лоскутком от сказки, уехавшим в никуда…
Но там, на другом конце отвесных ступеней,
в меня затолкнули новое сердце… Да?
А я все равно помню детскую твою руку,
твои нежные пальцы, мандарины и утренний снег.
Я расскажу обо всем твоем сыну и внуку —
как мишку латали, пока разрывался век.

III

И почему-то приснилось снова, что меня разбирают на части.
Точнее — распарывают маленькими ножницами по ворсу.
Вокруг стояли игрушки, и, спасаясь от общей напасти,
каждый прятал во мне частицу личного космоса.
Заяц протягивал набитый мелочью кулёчек,
кукла — обломок зеркальца и пуговицу от платья,
сломанный робот — гайку и звякающий замочек,
будто все они во мне собирались спрятаться.
Мне забивали брюхо пластмассой и жестью
и трамбовали опилки чужого страха.
Я хоть и разбухал от этой безумной чести,
но шкура трещала, как молью побитая рубаха.

А потом я проснулся. Как хорошо — все на вместе!
Часики тикают, лампа горит вполнакала,
жирафа дремлет на старом индийском кресле,
юла у стены там и заснула, где упала.
Надо же было такому присниться столетнему медведю!
Это смолоду мог я ходить с кулёчком вместо сердца.
В кулёчке — колечки… За то ценили меня соседи,
знали, что всегда можно на меня опереться.
Теперь и не верится, что новой я набит ватой,
а внутри ничего не брякает, не скрежещет металлом.
За окном прохлада тихого летнего сада,
а комната наша — это большое, теплое одеяло.

***

Всё обнулится намертво в тринадцатую пятницу,
Я вырублю компьютер, или пускай горит,
мигает, даже плавится, и цифры в танце катятся,
А я забуду разом весь этот алфавит.
Всё будет по-чернильному: я снова в первом классе,
В кармане два билетика на утренний сеанс,
И я — палеонтолог, я в Юрском биоклассе,
И три вождя индейских ведут со мной альянс.
Один из них — Да Винчи — подарит чертежи мне,
Крылатую махину, чтоб штурмовать зенит,
А я на всякий случай в приятном этом ритме
Отдам ему навечно тротил и динамит.
И это будет зрелище: как мимо строгих физиков
Я пролечу над школой, пугая воробьев,
Зачем мне их законы? Мне лучше метафизика,
Мы с ней закрутим танго в кольце иных миров.
И Сальвадор Дали расплавит меня воском,
Суфле отдаст Мане, и с этим сладким сном
Я всё начну сначала, на перекрестке плоском,
Где мой Девятый садик — за следующим углом.

Оттуда точно выберусь в созвездие Андромеды
И выброшу скафандр, пускай себе летит,
Забуду все регламенты, инструкции и беды,
Ведь в солнечной системе мой шлюз уже закрыт.
Всё будет как-то кремниево: я будто в инкубаторе,
Мигает синий датчик, подталкивая пульс,
А я ведь кибер-рыцарша на антигравитаторе,
И три межзвездных мага возьмут на сердце курс.
Мне главный Тесла в мантии подарит аж три молнии,
Катушки и кораблики для связи с пустотой,
И там же под обшивкой с искусственным безмолвием
Я спрячу две рогатки —

рогатку с серым камушком, рогатку со звездой,
И это будет весело: как мимо дронов-приставов
Я проскочу на варпе сквозь черную дыру,
Зачем мне ваша логика? Я выберу неистовость,
Мы с ней зажжем сверхновую в полуночном бреду,
А Фейман всё опишет, и даже математикой,
И Дирак мне подарит туманностей пирог,
Я всё начну сначала с безумной автоматикой,
С отсека «Гамма наша» нырнувши за порог.

Всё будет даже к лучшему в небесном расписании,
Я выкину условности — пускай летят в кювет,
Забуду про приличия, про страхи и про знания,
Не надо мне бессмертия, но я найду билет,
И будет всё прекрасно: я в золотом сиянии,
Где облачный причал и ангельский десант,
Я снова первоклассница в предвечном ожидании,
И трижды архистратиги мне вяжут белый бант.
Один Ньютон подарит мне три самых крупных яблока,
Что тянет к поднебесью, а вовсе не к земле,
Но я на этот случай за самым мягким облаком
Припрячу острый ножик и сахар в хрустале.
И это будет фокус: как мимо этих праведников
Я проскользну в сады, где зреет главный плод,
Зачем мне их каноны? Я убегу из праздника —
Куда, пока не знаю, но есть всему черёд,
В нем будет гордый Данте все объяснять мне в терцинах
Но я пойду к духовке, где зреет каравай,
Я всё начну сначала по затяжной инерции
В ближайший понедельник, где мой законный рай.

***

Золотым ураганом из темных глубин,
из прохлады, пахнущей воском и медом,
вылетает на солнце полуденный гимн,
подчиняясь созвучьем космическим сводам.

Эти пчелы — как птицы, как струнный обвал,
это стрелы, летящие к вечному лету,
этот вихорь и воздух узлом завязал,
и ложится роса по сырому фальцету.

Там, где прячется ягода в донную тень,
где секундная ось замедляет движение,
осыпается медом размеренный день,
принимая гудящих хоров наваждение,

чтоб не шум, а покой запечатался в лак, —
и густеет приволье в предчувствии пущем,
что и зимние стужи не прервут этот шаг,
оставляющий мир золотым и цветущим.

***

Цветку не проснуться цветком в холодах,
если нет никого, кто б его обручил.
Снежными пчелами к зимним садам
слетают ангелы с небесных стропил.

У них крылья — что иней, и лапки — хрусталь,
никто их не видит в суматохе веков,
нисходят они в морозную даль —
извечно и ныне, сквозь толщи снегов

тянут долгий, тяжелый, невидимый труд,
добывая нектар, как спасительный суд
поднимая наверх из холодных глубин
весь сгустившийся свет от пропащих седин.

И подснежный их мед — не для шатких умов,
это горькая сказка нездешних высот,
оявленье того, как средь вечных снегов
жизнь упрямо и страшно, но все же цветет.

***

Зимнее лето — то холод, то жар,
то гравий заносит крупой ледяной,
то дачный поселок, как душный амбар,
покрыт до стропил горячей смолой.

Сумятицей веток порвало трубу,
чернила текут к керосиновой лампе,
и время, свистя в ледяную арбу,
калитки срывает напыщенным штампом.

Так солнце и стужа, сойдясь заодно,
то ставни, то стыки времен истончают,
а липкая штора вцепилась в окно
оттуда глядит в недопитые чаи.

Шумят пилорамы, и дуб у пруда
глотает лавину аптекарской мяты,
хлещет ручьями шальная вода,
смывая границы и даты расплаты.

Сквозь грохот и звон, одышку и хлам
к окну пробралась, обжигая предплечья,
большая как мир, недоступная рвам,
хлесткая доверху речь человечья.

***

Пар шёл от камней. Ключевая вода
не сдалась январскому злому нажиму,
влажная нить уходила туда,
где можно довериться сну-побратиму.

Кусты облепихи стояли в пуху,
пар оседал на корявые сучья,
белея ажурной каймой наверху,
где воздух сгущался от птичьих созвучий.

Свет падал на пруд, зеркальный и чистый,
ни ветра, ни скрипа, ни лишнего вздоха, —
воздух-валёр серебристо-лучистый
баюкал сквозную эпоху.

Душа согревалась у этой струи,
забыв про морозы и зимнюю кару,
нежность вела нас в объятьях своих,
смывая в пути вековые кошмары.

***

Я превращу тебя в музей
высокого искусства,
где в тишине полутеней
живут святые чувства.

Твой гибкий стан и полувзгляд —
античная скульптура,
они безмолвно говорят
о вечности натуры.

В одной из комнат, у окна —
полотна Ренессанса,
там дышит светом глубина
изящного нюанса.

А в залах дальше — динамизм
и дерзость новых линий,
а новый смех твой — модернизм
и холст небесно-синий,

где авангард и суета
дробят застывший мрамор,
ну а во мне — лишь простота
и вековая драма.

***

Стояли мы на башне, острый рог
пронзал луну над самым изголовьем,
и мир внизу, как кухонный пирог,
парным дышал теплом и подневольем,
там город, втиснутый в чертёж,
ложился в рвы извилисто и косо,
и шпиль в немыслимом «ну что ж»,
нас к звёздному привел допросу.

Одна звезда как лампа в триста ватт,
светила в лоб, выпытывая тайну,
а млечный путь, седой наш адвокат,
молчал вдали, и будто бы случайно
дотошный месяц поперхнулся: «Вы?»,
качая желтой, острою бородкой,
а мы не скажем, — мы не мы, —
сцепив ладони в бездне этой кротко.

И не признались ни в одном грехе,
хотя река внизу вовсю стучала,
все размывала на сыром песке
Омегу с Альфой. Мы в ответ молчали.
И город спал, не поднимая глаз,
не слыша звездной, долгой перебранки,
и небо жадно слизывало нас —
две капли на краю пустой лоханки.

***

Тебя тащу я в сказочную небыль —
представь верблюда в красном колпаке.
Мы в Африке! Мы катимся по небу!
И солнце, как яйцо, поджарилось в песке.

Все потому, что Африка сплошное безобразие:
здесь лев в кустах сидит как рыжий таракан
и направляет все свои фантазии
на нескромный жирафий рябой сарафан,

и бегемот, собрав в коленях воду,
уселся в камыши, чтоб выдохнуть туман,
а мы с тобой сейчас, пробив саму природу,
вольемся в самый дерзкий океан,

и кстати — слон чихнул на всю округу,
и выросла трава до самых наших пят,
и хорошо, скажи, принадлежать друг другу,
когда все остальные совершенно спят.

***

Зачем ты бьешь меня наотмашь, луч,
в районе сердца?
Огнем скользя по ребрам горных круч,
ломая дверцы.

Тревожно сердцу — плавится металл
в ладонях ночи.
И этот свет… Никто его не звал.
Как слепит очи!

Сорвались петли, щит железный смят,
стена упала.
И стрелы раскаленные летят
взамен финала…

***

Я чего-то не пойму:
ты меня отвергаешь?
Будто в мутном полусне
ускользаешь-ускользаешь…

Или это просто свет
ломкий, лунный, быстротечный,
а ответа нет и нет
на вопрос мой бесконечный,

ты приблизился и вот
снова таешь, словно пламя,
что-то там в груди поёт,
будто кто-то шутит с нами.

Может, все это игра —
тени, шорохи, обманы,
и вечерняя пора,
разрушающая планы.

Мне ведь, в сущности, легко:
мир избыточно вниманием
осыпает-осыпает — и его
мне, как правило, хватает,

я могу и тихим сном
проскользнуть, не оставляя
в этом мире и следа, будет он
любить меня,
сам того не замечая.

Но зачем тогда в груди
этот звон как перед бурей?
Что сказал ты?
«Подожди»?

(Как во мне всё протестует!)

Отвергаешь или нет?!
Или просто тьмы движенье
этот тусклый, блеклый свет
эти смутные сомненья,

что не видишь, что не веришь
в эту вспыхнувшую сеть
из намёков, из молчаний,
из полуночных огней,
из твоих же колебаний.

Мимо, мимо побыстрей!
Как ты можешь — мимо, мимо?
Как сквозь призрачный туман —
будто я неощутима,
будто я самообман!

Как ты можешь?
Я живая,
Я — не просто этот крик!
Я такая!
Я такая…

(Меня не замечает он!
Эту тонкую выдумку взгляда,
эту почти состоявшуюся
версию его же мира,

выстроенную из его же
жестов мимолётных,
полуслов,
из воздуха, в конце концов,
который он даже не вдохнул
сегодня!
Боже мой, боже мой!
Какие у него равнодушные плечи!)

Но оставим. Тих и светел
этот вечер за окном,
синий воздух мягко светит,
тонет город в золотом,

облака плывут, не зная,
кто их видел, кто забыл,
и весна, слегка хмельная,
сыплет бархат из кадил,

и цветы смешны, беспечны,
обнимаются в тиши,
мир как будто бы навечно
хорошо живёт, скажи?

Ах, о чем ты? Что хотел ты?
Что всревожило тебя?
Видишь — небо побелело.
Что? Забудем, ерунда.

***

С еловых лап в лесной глуши
сползает снег, разнежившись от света,
и так легко ложатся дни
на влажный мох в предчувствии рассвета.

Роняет налепь кроткие штрихи
на старый наст, исчерченный ветвями,
и все обиды, тайны и грехи
становятся ручьями.

А в пазухах лесных набухли вербы,
и воздух пахнет чистою корою,
в апрельский полдень, обнажая нервы,
зима стекает талою водою.

Безмолвный сад в младенческих слезах
все вздрагивает, согреваясь свыше,
и замирает на твоих губах —
но остального не расслышать,

и снежный пласт с намокшею корой,
сорвавшись с веток в тишину лесную,
отправит в чащу вздох сквозной,
упав на землю теплую, живую.

***

Стучало сегодня часами кряду,
ждало у двери: откроешь мне?
Я ж не лавина в камнепаде,
я — кузнечик в густой траве.

И само полыхает искрой костра,
рвет и ночную темень,
может и птицей сорваться с утра,
часы обгоняя и время.

Будто мало ему секунд и лет
и тесно в границах тела,
и пробивается оно в этот свет
с таким порывом безмерным,

что и не знаешь, куда бежать
от грозовой этой волны —
нам с ним бы прилечь и полежать,
шаги послушать у этой весны.

Вот и шепчешь ласково ему:
«Погоди-ка, дай выдохну!»
А оно уже ловит у берега волну,
чтобы в небо меня выкинуть.

Бывало, у ключицы как выскочит
или птицей заплещется у лица…
Что ему эти безумные выси!
А так под ребрами без конца

мальчишкой на быстрой лодке
несется — плачь не плачь.
То шаг чересчур короткий,
то разбежится да пустится вскачь,

а потом прячется в самый низ,
будто монетка на дне колодца.
Ты успокоишься, а у него каприз:
замрет и будто бы уже не бьется.

***

Ты свет золотой
на ладони держал,
а шепот живой
нас укрывал
нежным дыханием
звёздного сна,
душа откликалась
песней сполна —
песней лазури
неземного сияния,
и звезды горели,
ночь разбавляя,
тихие заводи
то тени качали,
то вихревым маревом
сад раскрывали.
О, вечно мгновение
в прозрачном покое,
но радость весенняя
взрослеет рекою,
она (неужели)
мечтает умчаться,
спеша в акварели
от нас затеряться:
меня не ищите,
я в нежность заброшена,
сиреневой свитой
мечты припорошена.

А небо колышется,
тревожа созвездия,
в их шепоте чудится,
струится известие —
стихнут сияния
шпилей фарфоровых,
снов очертаний
жемчужные всполохи,
и сад растворится,
и утро настанет.
И утро слезится
рекой без названия.

***

Мы скрыты за туманами,
молчанием и временем,
Вы для меня — далёкое,
я Вам — чужого племени.

И в дебрях лимпоповости,
за полной сан-францискостью,
мы связаны неблизостью.
Такие, значит, новости…

Считаю звёзды белые,
иду своей тропою,
мой день расписан стрелами,
а ночь полна луною.

***

Он слишком громко звал, он слишком ярко верил,
раздув дыханьем тлеющий очаг —
не зная, что спасатель, отворяя двери,
сам может принести потоп и вечный мрак.

Потухло солнце враз, чернеет высь амвона.
И вместо царства грёз — разбитые мосты,
колонны беглецов, забитые перроны,
а мессия сидит в плену у темноты.

Так рушатся миры от благостных безумий:
когда слепой слепца ведёт на край скалы,
век выжигает гордый ум, оставив на трибуне
лишь пепел от венца и горький дым золы.

***

С минувшим десятком пятым,
в слегка помятом,
утиным шагом
гулять по Чикаго…

***

С темнотою стало странно,
улетучились мгновенья,
и улыбчивые дали
приближались-приближались,

ночь плыла легко и плавно,
расточая сновиденья,
чьи-то тени в них дрожали,
подражая-подражая

крыльям бабочек рассветных,
нежным бархатцам в пыльце,
золотистому свеченью
авроральных январей,

а податливая дверца,
отворяясь незаметно,
свет впускала в сновиденья
от старинных фонарей,

прямо к сердцу направляя
сгустки дымчатого света,
будто он умеет медлить,
будто он умеет ждать,

он клубился, отражаясь
в зеркалах из замка Норхэм,
шли они тихонько рябью,
силясь свет тот удержать,

где-то лестница витая
уводила прямо в небо,
всё ступени и перила
расставляя, расставляя,

ну а я совсем не зная,
убегать или не надо,
в этой зыбкости, немая,
растворялась-растворялась,

в этом замке наваждений
хаотичной пестроты,
в этом войлоке желаний,
охватившем все мечты,

в этом маревном тумане
запредельной красоты,
в этом воздухе томлений
этой сказочной ночи

я не знала, я не знала,
убегать или остаться,
и осталась, и осталась,
и осталась.

***

Струилось время прохладой
по тропам тягучего сна,
как будто шептала весна:
так надо, так надо, так надо,

пусть формы текут, не решаясь объять
ни тела, ни тени, ни звука,
ведь кто-то сумел тишину пролистать,
быть может, сама разлука,

и свет не светил, а едва проступал,
сквозь тени, как память сквозная,
и воздух там сам почему-то дышал,
всё в ткани свои вплетая,

и это всё было не “там” и не “тут”,
в тончайшем дышащем слое,
там все расплывалось и виделось вдруг
как иное, иное, иное,

как будто вся жизнь — только робкий ответ
на зов, что доносится чудом,
и его ускользающий призрачный след —
оттуда, оттуда, оттуда,

будто падения и все повороты —
лишь расслоения смыслов,
и полет — не полет, и исход — не исход,
и только невыбранность мысли

быть может все четче, сильней и сильней,
когда небо живительной силой
дороги сплетает живей и живей,
так было, так было, так было —

взмываешь не вверх, не сквозь собственный страх,
сквозь плотность потухшего взгляда,
не зная, не слыша, но вот он — размах —
так надо, так надо, так надо.

***

Лучи заката ласково, лилово,
лились, вплетаясь в ветви, в волны, в мох,
и лес дышал, утраченное помня слово,
но высказать как прежде он его не мог,

тянулись дали, терзались в памяти мгновенья,
и вилось время как весенняя трава
сквозь тлен листвы, — в сомненьях,
придет ли вправду новая пора,

дыханья ровного разрывом
бросался ветер, теребя узор
корней берез, застывших над обрывом
с отживших, отгоревших пор,

и стой хоть камнем, в безмолвии застывая,
в звенящем этом, выжженном кругу,
он так звучит, литании повторяя,
что ты дрожишь, ответствуя ему.

***

Туман клубится, огни дрожат,
струится ночь, гудят причалы,
летит, плывет звенящий маскарад,
мерцающую роскошь льёт в каналы,
вода кружит дрожащие огни,
двоится мир, и зыблются мгновения
в огне времён, и искры старины
вплетают в жесты сладкое томление,
танцует вихрь, нет в нем имён и лиц,
таинственно сплетает ночь узоры,
отбросив тяжесть, души вереницей
кружатся в ветреном просторе,
к рассвету стихнет карнавальный звон,
каналы смоют отблески видений,
и маска вздрогнет, погрузившись в сон
чужого золотого наваждения.

***

Не хочу быть Жар-птицей, хочу светлячком,
тихо мерцать в траве у дороги,
где вечер ложится прохладным венком,
где шорохи точно невнятные слоги,

хочу, чтоб трава принимала меня
без страха, букашкой без жгучего света,
чтоб тонкая искра (нет, нет, не огня)
была лишь дыханьем июльского лета,

я буду глядеть, как звезда за звездой
встаёт над полями спокойно и строго
и знать, как не нужно сиять над землёй,
ведь здесь на земле повсюду чертоги:

не жечь никого, не тревожить ничуть,
лишь мягко касаться пространства ночного,
и если погаснуть, то просто заснуть,
в траве, где ни звука, ни зова иного,

но, может быть редко (едва ли на миг)
во мне загорится иное начало,
взметнётся крылатый, неведомый крик,
и пламя поднимет меня для начала,

чтоб вдруг — высота и раскат, и размах,
и ветер, и золото, и озаренье,
что звёзды не тихие точки в ветвях,
а души родные, до ослепленья,

пусть рвётся душа, и сверкает зенит,
и хочется дальше и выше, и жарче,
и ночь отступает, и небо звенит,
и пламенем дышит восторг настоящий,

(что я говорила про покой и траву?),
о, пламя, о вихрь, огонь беспощадный,
я к звёздам лечу, я их трону, сорву,
я стану им светом и бездной громадной,

а где-то внизу у дороги, во мгле
мерцает забытый ночной огонек,
он тянет назад, к благодатной земле,
в наш тихий, родной, травяной уголок,

здесь все из травы, здесь дом — тишина,
и небо далёкое звёздно и строго,
я, может, и вспомню тот дерзкий пожар,
но вскоре забуду к нему я дорогу,

хоть ночью приснись мне прошлая эра,
где книги как звезды сгорали в пожаре,
где сестры Жар-птицы, считая потери,
то пламя тушили, то разжигали,

но нет, я не буду Жар-птицей пернатой,
лишь буду мерцать в придорожной тиши,
здесь колокольчик склонится лампадкой,
и травы сокроют дыханье души.

***

Видала я ту смерть в гробу,
теперь её черед
услышать скрипку и арбу,
и весь обратный ход.

Снег осыпается в зенит,
подмыло черную межу,
река, как прежде, лед гранит,
и старость смерть ведет к ножу.

Сухой туман залез в пазы,
кора срастается на пне,
сбежит и пламя от грозы,
ведь старости уж нет вчерне.

Зеленый лист уйдет в побег,
грачиный смолкнет грай,
а мягкий, теплый, нежный век
отменит весь прощальный край.

Вода свернется в капли рос,
земля захлопнет свой загон —
и самый первый дикорос
вдохнет всю жизнь в тугой бутон.

***

Не знаю, кто в мире она — Фата-Моргана,
но барышня, видно, до капель капризна:
в шелках над волнами встаёт спозаранок,
рождённая утренним бризом.

Высит замки она над большою водою —
с крутизной галерей, с золотыми каретами,
очарует и сманит душой колдовскою,
просветы впотьмах нарисует кометами.

Но шагни только в эту хрустальную залу —
обернёшься ондатрой, распятой на мели.
Всё, что только секунду павлином блистало,
рассыпается в воздухе серыми перьями.

Королева ветров и коварного плана,
ты не ради тепла и любви была свита.
Сердца нет под твоей одеждой туманной,
а всего лишь — глухие пласты морганита.

***

Глазки — точки, щёчки — мыльце,
красный шарик вместо платьица.
Если стукнуть куклу в рыльце —
кукла всхлипнет, но не свалится.

Ой, качались-баловались,
куклы падали, ломались,
дети плакали, стреляли,
кукол в землю зарывали.

Ну а шарик — дзинь да звяк,
куклу не унять никак:
в пузе — гирька, в пузе — донце,
кружит-вертится под солнцем.

Хоть бока уже разбиты,
неваляшка не расплачется.
А волчок без монолита —
только ткни, — сломается.

***

Как выкроить в сутках крылами живую лазурь,
когда каблуки увязают в фосфатном сукне,
а ветер в лицо вдувает черемухе дурь,
и ветка сирени сереет в аптечном окне?

Как небо ронять и подбрасывать солнце в космос,
коль небо само навалилось всем весом на грудь, —
и рядится солнце в какой-то испорченный компас,
и цедит сквозь тучи густую, топленую грусть.

Попробуй — взлети, когда сзади, у самых лопаток,
ремнями привязан чугунный большой чемодан:
там заперты ветошь, приход, непокрытый остаток,
чернильная сырость, старый графин-истукан.

А под правым крылом — расписание нудных приемов,
под левым — отчеты и пепел, и расколотый быт.
Попробуй найти в лабиринте проемов
окно, где строфа закрутит внесюжетный кульбит.

И взъерошатся перья
пресноводного зверя!
Просыпася же край,
заливайся, летим!
Мы в аптеки не верим,
мы и в черта не верим!
Да по край наливай
развеселой души!

И попробуй найди в лабиринте проемов
окно, где сюжет виртуозно сбоит.

***

Вечер стих и прилег на клавиши,
тени в окнах дрожат, как свечи.
Тишину мы на память оставили,
завернувшись в седые плечи.

Посидим в пустоте, как в лодке,
растворяясь от края к краю,
а в висках застревают нотки
недопетого, смытого рая.

Что спросить у судьбы неслышно,
не меняя лица и почерка?
Говорят, над самою крышей
разрастается вширь оболочка:

не к лицу уже драме сатира,
убегают из плена строчки —
не дождавшись конца эфира,
ищут в новых краях источник.

О зиме они будут помнить —
в сюжет вросла без остатка,
и вернутся однажды в полночь
в наши души, помолясь украдкой.

Над сонной чащей выкипел состав

межзвездных руд, и содрогнулись оси,

там Орион, от вечности устав,

свои доспехи в ельник перебросил…